Бедные люди

Автор:
Федор Достоевский

Бедные люди

Федор Михайлович Достоевский

Школьная библиотека (Детская литература)

Роман Ф. М. Достоевского «Бедные люди» отличается, по словам В. Г. Белинского, «глубоким пониманием и художественным, в полном смысле слова, воспроизведением трагической стороны жизни».

Восторженно встреченное его знаменитыми современниками – Н. А. Некрасовым, Д. В. Григоровичем, В. Г. Белинским, – это произведение предопределило будущую литературную судьбу Достоевского как величайшего художника-психолога, проникающего в самые глубокие тайники человеческой души.

В формате PDF A4 сохранен издательский дизайн.

Федор Михайлович Достоевский

Бедные люди

© Издательство «Детская литература». Оформление серии, 2002

© Ю. В. Манн. Предисловие, примечания, 1985

© Г. И. Епишин. Рисунки, 1985

* * *

«Открыть человека в человеке»

1821–1881

I

Признание и слава пришли к «Бедным людям» еще до опубликования. Случилось это так.

В один из майских дней 1845 года Достоевский решил прочитать только что законченное произведение Дмитрию Васильевичу Григоровичу. Оба жили на одной квартире – на углу Владимирской улицы и Графского переулка, в Петербурге; оба были начинающими литераторами – Григорович только что опубликовал очерк «Петербургские шарманщики», а Достоевский – перевод повести Бальзака «Евгения Гранде».

С первых же страниц новое произведение – это был роман «Бедные люди» – захватило Григоровича. «…Я понял, – вспоминал он впоследствии, – насколько то, что было написано Достоевским, было лучше того, что я сочинял до сих пор; такое убеждение усиливалось по мере того, как продолжалось чтение. Восхищенный донельзя, я несколько раз порывался броситься ему на шею, меня удерживала только его нелюбовь к шумным, выразительным излияниям; я не мог, однако ж, спокойно сидеть на месте и то и дело прерывал чтение восторженными восклицаниями».

Затем Григорович отнес рукопись Н. А. Некрасову, в ту пору тоже начинающему писателю и поэту, но более известному в качестве издателя знаменитого альманаха «Физиология Петербурга». Некрасов собирал материал для

следующего альманаха – «Петербургский сборник», и новая рукопись могла представить для него практический интерес.

Результат от чтения превзошел все ожидания. Читал вслух Григорович. «На последней странице, – вспоминает он, – когда старик Девушкин прощается с Варенькой, я не мог больше владеть собой и начал всхлипывать; я украдкой взглянул на Некрасова: по лицу его также текли слезы».

Была глубокая ночь, когда закончилось чтение; около четырех часов; но, несмотря на это, решили немедленно идти к Достоевскому («Что ж такое, что спит, мы разбудим его, это выше сна!»), чтобы поздравить его с успехом и договориться о быстрейшем напечатании романа.

Достоевского это позднее посещение взволновало не менее, чем самих гостей. Пробыли вместе недолго, но переговорили много – и о новом романе, и о литературе вообще, и о жизни («тогдашнем положении») – и понимали друг друга с полуслова как единомышленники и соратники. На прощание Некрасов пожелал Достоевскому спокойного сна, условившись, что в скором времени они встретятся снова.

«Точно я мог заснуть после них! – писал Достоевский. – Какой восторг, какой успех, а главное – чувство было дорого, помню ясно: „У иного успех, ну хвалят, встречают, поздравляют, а ведь эти прибежали со слезами, в четыре часа, разбудить, потому что это выше сна…“»[1 - О первых чтениях романа мы знаем из воспоминаний двух очевидцев – Достоевского и Григоровича. При этом Достоевский несколько иначе излагает последовательность фактов: рукопись якобы была отдана им Григоровичу (еще незнакомому с романом), и затем состоялось первое чтение у Некрасова. Нужно учитывать, однако, что Григорович писал свои воспоминания, будучи знакомым с воспоминаниями Достоевского и сознательно корректируя их. Поэтому упоминаемый Григоровичем факт первого чтения романа одному ему представляется вполне вероятным.]

Бывает литературный успех громкий, но мимолетный; бывает успех внешний, поверхностный. Но все сознавали, что успех нового романа не таков, что это – событие, причем не только литературное; поэтому-то и разговор о романе получился широким, вобрав в себя самые разнообразные темы – и литературные, и житейские. «Выше сна» – это, так сказать, фигуральное, образное обозначение такого успеха: перед подобными событиями отступают обыкновенные дела и

заботы и далее нарушается естественное течение жизни.

Но Достоевскому предстояло выдержать еще одно испытание – суд Белинского. Говоря на прощание о новой – в скором времени – встрече, Некрасов имел в виду встречу с Белинским, которому он собирался передать рукопись.

Белинский вначале отнесся к рекомендации Некрасова недоверчиво. Но, прочитав рукопись в один присест, попросил Некрасова немедленно привести автора.

Когда Достоевский вошел, Белинский «заговорил пламенно, с горящими глазами»: «Да вы понимаете ль сами-то… что это вы такое написали!.. Вы только непосредственным чутьем, как художник, это могли написать, но осмыслили ли вы сами-то всю эту страшную правду, на которую вы нам указали?.. Вот служение художника истине! Вам правда открыта и возвещена как художнику, досталась как дар, цените же ваш дар и оставайтесь верным и будете великим писателем!..»

Так в успехе Достоевского, в его художническом дебюте было увидено – возможно, впервые – предвестие его будущей литературной судьбы как великого писателя.

Между тем толки о новом произведении все шире и шире распространялись по столице. «О „Бедных людях“ говорит уже пол-Петербурга», – сообщал в октябре 1845 года Достоевский своему брату Михаилу. «В ноябре и декабре 1845 года все литературные дилетанты ловили и перебрасывали отрадную новость о появлении нового огромного таланта», – свидетельствовал критик Валериан Майков.

Наконец в январе следующего, 1846 года некрасовский «Петербургский сборник» вышел в свет. Открывал эту книгу роман «Бедные люди».

II

Уже название романа указывало на тот материал, который взят в его основу, на преобладающий типаж его героев. Это – бедные люди, влачащие жалкое существование, городская «дробь и мелочь», как говаривал в таких случаях Гоголь.

У них невидные должности, мелкие чины, обычно не старше чина девятого класса, то есть титулярного советника (титулярным советником является Макар Алексеевич Девушкин, как и его литературный предшественник – гоголевский Башмачкин). Они ютятся где-нибудь в отдаленных районах, в дешевых квартирках; вечно недоедают, мерзнут в своей ветхой одежде (у Девушкина и сапоги прохудились, и пуговицы чуть ли не с половины борта все осыпались), страдают от болезней и хворей, не вылезают из долгов, забирают жалованье вперед, чтобы кое-как выкрутиться, и нередко попадают в сети жадных ростовщиков. Для такого персонажа впоследствии был найден специальный термин – «маленький человек». Выражение это, впрочем еще без четкого терминологического ограничения, употреблялось в 40-е годы XIX века; встречается оно и в «Бедных людях». «Я привык, потому что я ко всему привыкаю, потому что я смирный человек, потому что я маленький человек»[2 - Курсив в цитатах здесь и далее мой. – Ю. М.], – говорит Девушкин. «Маленький человек» здесь синоним непритязательности, способности примириться и сносить любые невзгоды.

Такой поворот темы предопределил и споры, которые развернулись в критике сразу же после выхода романа. Гоголь, его маленькие герои – бедняки, и особенно лицо, которое мы уже упоминали, Акакий Акакиевич Башмачкин из «Шинели», – вот кто прежде всего приходил на ум. Одни хвалили Достоевского за продолжение традиции, другие за это же его порицали. Вот, например, мнение одного из рецензентов, Константина Аксакова: «Вся повесть написана решительно под влиянием Гоголя… Г. Достоевский взял форму, столько раз являвшуюся у Гоголя, – чиновника и вообще бедных людей. Она является у него живо в повести. Но повесть его решительно не может назваться произведением художественным». Константин Аксаков – критик интересный и глубокий, но в данном случае он обнаруживал явное предубеждение. Однако не больше правоты было и у тех, кто видел достоинство романа в простом повторении уже найденной «формы», то есть гоголевского излюбленного героя.

Ибо роман не произвел бы такого впечатления, не оказал бы такого действия, если бы в нем не запечатлелось новое слово, а значит, и новое понимание «маленького человека». «Мы далее думаем, – писал Белинский в статье о

„Петербургском сборнике“, содержавшей разбор „Бедных людей“, – что Гоголь только первый навел всех (и в этом его заслуга, которой подобной уже никому более не оказать) на эти забитые существования в нашей действительности, но что г. Достоевский сам собою взял их в той же самой действительности».

Оригинальность Достоевского заметна уже в самом типе романа, в некоторых поэтических его особенностях. Обычно о «забитых существованиях» рассказывалось в третьем лице – о них повествовал «автор», рассказчик, то есть лицо стороннее. В «Бедных людях» герои говорят о себе сами – Варенька и особенно Макар Алексеевич Девушкин. Стороннего рассказчика вообще нет; всё, решительно всё мы узнаем от самих героев. Это значит, что слово передоверено «маленькому человеку». «Маленький человек» сам поверяет нам свои переживания и думы, настроения и намерения.

Но это еще не всё. Роман почти сплошь состоит из писем героев; лишь небольшой его фрагмент, рассказывающий о прошлом Вареньки, написан в форме ее воспоминаний, но и они приложены к очередному ее письму. «Бедные люди» – роман в письмах. Такой жанр не был изобретением Достоевского; существовала уже длительная и богатая традиция: «Памела» английского писателя С. Ричардсона (первое произведение такого рода), «Юлия, или Новая Элоиза» французского писателя Ж. Ж. Руссо, «Страдания юного Вертера» немецкого поэта и писателя И. В. Гёте; у нас – «Роман в письмах» А. С. Пушкина или, скажем, «Роман в двух письмах» прозаика и критика 20 – 30-х годов О. М. Сомова. Заслуга Достоевского заключалась не в создании этого жанра, а в том, что он решительно поставил его на службу своей теме – теме «маленького человека». А это имело далеко идущие последствия.

Ведь письмо – если это письмо частное и обращено к близкому и дорогому человеку, каким является для Макара Алексеевича Варенька, – документ личный и интимный. В нем говорят то, что не предназначено для чужих ушей, что составляет сокровенную тайну души и сердца. Внешние обстоятельства жизни наших героев способствуют развитию переписки (вместе с тем это является и ее мотивировкой, то есть оправданием жанра романа в письмах) – живущие совсем рядом, через дорогу, они не могут видеться часто, ибо Макар Алексеевич боится, что его встречи с девушкой дадут повод для сплетен и пересудов. Только в письмах может он дать волю своей нелености, заботе, тревогам. Чувство, не выговоренное вслух и вовремя, приобретает необычайную силу и выразительность. «Мелкий чиновник впервые у Достоевского говорит так много и с такими тональными вибрациями», – заметил известный отечественный

литературовед В. В. Виноградов. «С тональными вибрациями» – это значит с необычайным диапазоном тонких душевных движений. Подобного русская литература еще не знала.

III

Впрочем, Достоевский и сам подчеркнул новизну своего подхода к теме. Подчеркнул в самом романе, в его тексте – испытанным приемом литературных примеров и сопоставлений.

Еще современники обратили внимание на то, какое большое место в романе занимают литературные факты – упоминания произведений и их героев. Такой прием – тоже не новость, часто применялся он и в полемических целях. Однако отличие «Бедных людей» как романа в письмах в том, что литературными примерами оперируют сами герои, и только они. И следовательно, эти примеры необычайно тесно связаны с личностью героев, обнаруживая их образ мыслей, сиюминутные настроения и переживания. И поэтому говорить об этих примерах – значит говорить о самих персонажах, Девушкине в первую очередь.

Литературная тема возникает в романе постепенно и органично.

Вначале Макар Алексеевич посылает Вареньке какое-то низкопробное сочинение (название его не упомянуто), чтобы развлечь ее и развеселить. Но Варвара Алексеевна, обладавшая гораздо более высоким, развитым вкусом, с негодованием вернула книжку.

Макар Алексеевич делает новую попытку – включает в очередное письмо три отрывка из сочинений своего соседа Ратазяева. Уж эти-то произведения должны понравиться Вареньке! Но Варвара Алексеевна, презрительно отозвавшись о них («такие пустяки…»), в свою очередь посылает Девушкину пушкинские «Повести Белкина» и «Шинель» Гоголя. В литературной теме романа намечается нечто новое…

Между тем и отвергнутые Варенькой сочинения крайне валены для художественного смысла вещи. Одно – «Итальянские страсти», рассказ или

повесть с безудержными и неистовыми героями, о которых обычно говорят, что они «рвут страсть в клочья». Другое – повесть «Ермак и Зюлейка», где сентиментальность и жеманство становятся атрибутами исторических персонажей, не имеющих, конечно, ничего общего со своими прототипами (Ермак – казачий атаман, начавший освоение Сибири). И, наконец, третье сочинение – «шуточно-описательный» отрывок в стиле эпигонов Гоголя, «собственно для смехотворстванаписанный» (первые строки этого отрывка пародируют начало гоголевской «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»).

Общее у всех трех сочинений, помимо их мелкотравчатости и низкопробности[3 - Фамилия их «автора» вносит определенные, дополнительные краски в это представление. В фамилии «Ратазяев» слышится что-то вульгарное и вместе с тем бесцеремонное (ассоциации со словами: разевать рот, раззява и т. д.).], то, что они не имеют никакого отношения к реальной жизни. Особенно жизни «маленьких людей» вроде Макара Девушкина. И воспринимаются они им соответственно – как чистый вымысел, другая существенность, в которой молено укрыться от окружающих забот и волнений. Если они и соотнесены с реальностью, то только контрастно – своей выспренностью или несбыточностью; в этих сочинениях жизнь преобразуется, как в радужной картине или в кривом зеркале, что способно доставить страждущему сердцу утешение или забаву. Эту мысль по-своему выражает и Макар Девушкин, вообще склонный задумываться и отдавать себе отчет в своих художественных впечатлениях: «А хорошая вещь литература, Варенька… Сердце людей укрепляющая, поучающая… Литература – это картина, то есть в некотором роде картина и зеркало; страсти выраженье, критика такая тонкая, поучение к назидательности и документ». «Это я все у них наметался», – прибавляет Девушкин, подразумевая Ратазяева и его приятелей.

И вот в этот его сложившийся или складывающийся круг понятий внезапно вторглись новые ощущения. Те, которые были порождены «Станционным смотрителем» и «Шинелью». Не придуманные радужные картины, не мелкотравчатые фарсы, а суровая правда самой жизни предстала перед Девушкиным – притом правда о жизни того круга людей, к которому принадлежал он сам. В этом, между прочим, состоял скрытый расчет Вареньки, пославшей Макару Алексеевичу эти книги, – преподать ему урок настоящей литературы, которая бы вытеснила низкопробное чтиво.

IV

Результат урока оказался несколько неожиданным. Обе повести произвели на Девушкина сильнейшее впечатление, но по-разному. Казалось бы, ему должны были понравиться и «Станционный смотритель», и «Шинель», но если первое он безоговорочно принял, то второе отвергнул. Отвергнул с негодованием, с какой-то внутренней болью и уязвленным чувством собственного достоинства.

Раздумывая над тем, почему такое случилось, мы опять-таки отвечаем на вопрос, кто таков Макар Девушкин и что нового внес Достоевский в изображение «маленького человека».

Вспомним: в гоголевской повести заветной мечтой Акакия Акакиевича, его, как в таких случаях говорят, навязчивой идеей, idee fixe, стала шинель. Эта шинель была насущно необходима в скудной и неприютной жизни бедняка, она вобрала все сокровенные стремления, помыслы, самое существование его, так что с утратой шинели словно разрушилась какая-то существенная его опора и начался неуклонный и неостановимый путь к гибели. Макар Алексеевич чувствует – не может не чувствовать! – всю насущную необходимость этой мечты, а затем и весь трагизм ее разрушения, но для него шинель остается все-таки лишь материальным предметом, то есть вещью. И как вещь она или оттесняется на второй план, или же подчиняется другому, более важному.

Молено сказать, что полемика Девушкина с «Шинелью» началась еще задолго до того, как он прочитал повесть.

В первом же письме он между прочим обронил такое признание: «Оно, знаете ли, родная моя, чаю не пить как-то стыдно, здесь всё народ достаточный, так и стыдно! Ради чужих и пьешь его… для вида, для тона; а по мне всё равно…» Чай, как и шинель, относится к внешней, материальной стороне существования. И, собственно, чаем молено было бы пренебречь, если бы не мнение других. Предмет становится валеен постольку, поскольку он пробуледает «вид» и «тон», то есть увалеение (и самоувалеение) человека.

Любую вещь, часть своего туалета, далее детали внешнего облика Девушкин воспринимает со стороны производимого ими впечатления на других. «Да мало того, что из меня пословицу[4 - Подразумевается пословица: на бедного Макара все шишки сыплются. Вообще, как и у Ратазяева, имя и фамилия этого

персонажа вносят определенные краски в его характеристику. Имя говорит о преследовании, несчастиях, бедах (вспоминается еще пословица: сослать туда, куда Макар телят не гонял); фамилия – Девушкин – о душевной чистоте и в то же время незрелости, наивности.] и чуть ли не бранное слово сделали, – до сапогов, до мундира, до волос, до фигуры моей добрались: всё не по них, всё переделать нулено!» И затем улее, собственно, о шинели: «.. по мне всё равно, хоть бы и в трескучий мороз без шинели и без сапогов ходить… но что люди скалеут?.. Ведь для людей и в шинели ходишь, да и сапоги, полеалуй, для них же носишь… Меня, старика, знающего свет и людей, послушайте, а не пачкунов каких-нибудь и марателей».

В последней фразе – выпад против автора «Шинели»: повесть поразила Макара Алексеевича в самое сердце. Оказывается, не так-то просто возвыситься над «сапогами», «чаем», «шинелью» и прочим. Оказывается, вещь – и вещь самая простая – может не только стать причиной гибели человека, но словно вобрать в себя весь нравственный смысл его существования. Девушкин не хочет, не может с этим примириться (не забудем, что он непроизвольно отождествляет героя повести с собой), и тут «Станционный смотритель» открывает перед ним другую, куда более заманчивую перспективу.

В пушкинской повести предмет страстной привязанности и любви Самсона Вырина – его дочь, Дуняша, бедная его заблудшая овечка. Это уже не вещь, не сапоги или шинель, а близкое и дорогое существо. И вся история так напоминает Девушкину его взаимоотношения с Варенькой, что он прочитал ее как откровение собственного чувства: «…словно сам написал, точно это, примерно говоря, мое собственное сердце, какое уж оно там ни есть, взял его, людям выворотил изнанкой да и описал всё подробно – вот как!.. Ведь я то же самое чувствую, вот совершенно так, как и в книжке, да я и сам в таких положениях подчас находился, как, примерно сказать, этот Самсон-то Вырин, бедняга». Когда же обозначилась реальная угроза отъезда Вареньки с ее соблазнителем, господином Быковым, то Девушкину показалось, что все, о чем говорила книжка, и вовсе совпало с реальным развитием его собственной истории.

Кстати, и у других персонажей романа Достоевского, бедняков, мы наблюдаем нечто похожее: в их внутреннем мире вещь, предмет уступают место цели более возвышенной, духовной. Вообще для романа (как уже неоднократно отмечалось исследователями Достоевского) характерна система сходных персонажей: некоторые черты поведения и облика Девушкина повторяются в других героях: старике Покровском, Горшкове и т. д.

Вот Покровский. И тут характерной деталью его облика является «шинелька» – знакомый нам знак полемики с гоголевской повестью. Приходя к сыну, Покровский обычно «снимал свою шинельку, шляпу, которая вечно была у него измята». Уходя, «безмолвно, покорно брал свою шинельку, шляпенку…» Но не шинелька, не вещь одухотворяет его жизнь, а «неограниченная любовь к сыну» (сравним отношение Девушкина к Вареньке).

Бедняки у Достоевского нередко косноязычны, беспомощны в выражении своих чувств, подобно Акакию Акакиевичу, который изъяснялся «большею частью предлогами, наречиями и, наконец, такими частицами, которые решительно не имеют никакого значения». Повторяется далее излюбленное словечко Башмачкина – «того». Вспомним спор Вареньки со стариком Покровским о том, как следует дарить книги сыну в день его рождения. «Да зачем же вы хотите, чтоб мы не вместе дарили, Захар Петрович?» – «Да так, Варвара Алексеевна, уж это так… я ведь, оно того…» Одним словом, старик замешкался, покраснел, завяз в своей фразе и не мог сдвинуться с места. Но нетрудно распознать мотивы этой немоты: как сделать, чтобы подарок шел от него, чтобы Петруша понял, что на собственные деньги купил отец книги, а значит, избавился от пагубного порока, не пьет… Целый мир сложных душевных движений, волнений чести, внутреннего достоинства, «амбиции» угадывается в одной беспомощной фразе.

Еще одна выразительная перекличка с Гоголем. «Какой вы, право, добрый, Макар Алексеевич! (говорит Варенька). Вчера вы так и смотрели мне в глаза, чтоб прочитать в них то, что я чувствую, и восхищались восторгом моим. Кусточек ли, аллея, полоса воды – уж вы тут: так и стоите передо мной, охорашиваясь, и всё в глаза мне заглядываете…» Прочитать что-то по глазам, по лицу – этот оборот, возможно, также подсказан «Шинелью»: «…некоторые буквы у него (Акакия Акакиевича) были фавориты, до которых если он добирался, то был сам не свой… так что в лице его, казалось, молено было прочесть всякую букву, которую выводило перо его». Большая разница, однако, – «прочесть букву» или же те переживания, которые одушевляют близкого человека.

Но не только характер привязанности – к человеку, а не к вещи – заставляет Девушкина отдавать предпочтение «Станционному смотрителю» перед «Шинелью». Не меньшее значение имеет и характер отношений к герою других персоналеей. Самсон Вырин погиб, спился, но его гибель отозвалась болью в сердце дочери; его могилу посещает рассказчик; само описание кладбища взывает к состраданию и оставляет чувство острой печали: «Мы пришли на

кладбище, голое место, ничем не ограленное, усеянное деревянными крестами, не осененными ни единым деревцем. Отроду не видал я такого печального кладбища».

Но вспомним финал леизненной истории Акакия Акакиевича: «Исчезло и скрылось существо, никем не защищенное, никому не дорогое, ни для кого не интересное, далее не обратившее на себя внимание и естествонаблюдателя, не пропускающего посадить на булавку обыкновенную муху…» Далее упоминание кладбища и могилы – последнего пристанища Башмачкина – в повести отсутствует. Смысл финала в том, что бедный Акакий Акакиевич исчезает без следа, как будто бы «его и никогда не было»; что он вполне заменим, подобно любому винтику в государственной машине («на другой день уже на его месте сидел новый чиновник…»), что общество не признает в нем ничего индивидуально-человеческого, своего, незаменимого.

Разумеется, у Гоголя всё рассчитано на противоположный эффект – на пробуждение сострадания и сочувствия; но Макар Алексеевич не отличает правдивость повести от жестокости самой жизни и отношение к герою повествователя, воплощающее порою «среднюю», общепринятую точку зрения, от отношения самого автора. Если бы Девушкин до конца проследил развитие своих впечатлений, то он бы докопался до их жизненного источника; между тем, остановившись на полдороге, он обвинил автора «злонамеренной книжки» в том, в чем следовало бы обвинить самое жизнь. Дескать, автор, и только он, виноват, что подметил что-то неподобающее и неприглядное.

«Как! Так после этого и жить себе смирно нельзя в уголочке своем… чтобы и тебя не затронули, чтобы и в твою конуру не пробрались да не подсмотрели – что, дескать, как ты себе там по-домашнему, что вот есть ли, например, у тебя жилетка хорошая, водится ли у тебя что следует из нижнего платья; есть ли сапоги, да и чем подбиты они; что ешь, что пьешь, что переписываешь?..» И у Макара Алексеевича появляется и крепнет неодолимое желание – спрятаться в своем «уголочке», «жить водой не замутя», чтобы никто тебя не видел и не слышал, чтобы меньше было пищи для сплетен – словом, на беспощадность гоголевского взгляда он реагирует в духе своей «амбиции», то есть смирения, которое, по пословице, паче (более) гордости.

В духе своих представлений, своей «амбиции» проводит Макар Алексеевич и параллель между «переписчиком» и «сочинителем». Сочинителем он считает, к примеру, Ратазяева, переписчиком – себя. Переписчиком был и Акакий

Акакиевич – но тот, по мнению Девушкина, выполнял свои обязанности без чувства собственного достоинства и гордости. Макар Алексеевич же стремится эти обязанности облагородить и оправдать. «Я ведь и сам знаю, что я немного делаю тем, что переписываю; да всё-таки я этим горжусь: я работаю, я пот проливаю». Но, кроме того, быть переписчиком или сочинителем означает – жить скромно или нескромно, сидеть в своем уголочке или оказаться на виду. С ужасом примеривает он к себе вторую возможность. «Ну вот, например… вышла бы в свет книжка под титулом „Стихотворения Макара Девушкина“!.. Я бы решительно тогда на Невский не смел бы показаться». Однако, несмотря на позицию «переписчика», а не «сочинителя», скрыться в своем уголочке не удается; жизнь и здесь настигает Макара Девушкина.

V

Макар Алексеевич, по его словам, часто изъясняется «иносказательно», то есть с помощью различных жизненных примеров и случаев. Собственно, и размышления о «Шинели» и «Станционном смотрителе» – проявление такой речи, однако тут иносказательность была непреднамеренной: Девушкин не собирался оперировать упомянутыми литературными фактами как примерами. Они сами захватили Макара Алексеевича, вторглись в круг его мыслей. Однако Девушкин нередко и сознательно обращается к тем или другим явлениям для передачи своих ощущений. Но интересно: все или почти все такие пассажи носят на себе след «Шинели» или других гоголевских произведений. И тем самым вновь обнаруживается то, каким образом Достоевский продолжал традицию своего великого предшественника и что вносил в нее нового.

Вот, например, заметив, что ему не хотелось бы появиться на Невском проспекте, Девушкин поясняет: тогда бы все узнали, что у него «сапоги в заплатках». Далее «какая-нибудь там контесса-дюшесса узнала бы». «Она-то, может быть, и не заметила бы; ибо, как я полагаю, контессы не занимаются сапогами… да ей бы рассказали про всё, свои бы приятели меня выдали». И во второй раз Макар Алексеевич заводит разговор о тех, кто «занимается сапогами», «ибо в смысле-то, здесь мною подразумеваемом (то есть в переносном смысле, иносказательном. – Ю. М.)… все мы… выходим немного сапожники».

Эти рассуждения и ассоциации восходят к гоголевскому «Невскому проспекту», где тоже описываются события, случающиеся на главной улице «нашейстолицы»: «Естьмножество таких людей, которые, встретившись с вами, непременно посмотрят на сапоги ваши… Я до сих пор не могу понять, отчего это бывает. Сначала я думал, что они сапожники, но, однако лее, ничуть не бывало: они большею частию служат в разных департаментах…» То есть они тоже сапожники в переносном смысле слова! Образ подхвачен и развивается Девушкиным в духе характерной для него символики: чай, шинель, сапоги – есть внешнее, важное не само по себе, а по производимому на других впечатлению. У Гоголя этот оттенок подразумевается, но не подчеркнут: повествователь в свойственной ему иронической манере изумляется, почему это прохожие, не будучи сапожниками, «занимаются сапогами». У Достоевского сказано отчетливо – почему. И этот ответ еще многократно обдумывается персонажем, проверяется со всех сторон.

Результатом раздумий является новый поворот темы, намечаемый во втором рассуждении о сапогах. Макару Алексеевичу представляется, как «мастеровой какой-нибудь от сна пробудился; а во сне ему, примерно говоря, всю ночь сапоги снились, что вчера он подрезал нечаянно… Ну да ведь он мастеровой, он сапожник: ему простительно все об одном предмете своем думать». Но «в этом же доме, этажом выше или ниже, в позлащенных палатах, и богатейшему лицу всё те же сапоги, может быть, ночью снились, то есть на другой манер сапоги, фасона другого, но все-таки сапоги…» И нет человека, сетует Девушкин, который бы этому богачу «шепнул… на ухо, что „полно, дескать, о таком думать, для себя одного жить… оглянись кругом, не увидишь ли для забот своих предмета более благородного, чем свои сапоги!“ Вот что хотел я сказать вам иносказательно…»

Тут «сапоги» – символ не только внешнего, имеющего значение лишь «для вида, для тона», но и недостойной цели вообще, которая должна уступить место другой цели. Думать о «предмете более благородном, чем свои сапоги» – значит заботиться о ближнем. Так поступает Девушкин (повторяем, он постоянно соотносит всё сказанное с самим собой), думающий о Вареньке, об ее счастье.

VI

Но одно дело – стремления и переживания Девушкина, другое – реальный ход событий. Они не всегда – далеко не всегда – совпадают, и это несовпадение становится ведущим трагическим мотивом романа.

Для начала обратим внимание на ту область, в которой происходит несовпадение. Это не внешняя, материальная жизнь героя. Та жизнь, которую Девушкин фигурально определяет с помощью сапогов, шинели, чая и т. д. Это другая область – его отношения с Варенькой, развитие которых составляет главный сюжет романа.

В смысле жизни внешней Девушкин относительно свободен, то есть он может не замечать или преодолеть голод, нужду и т. д. Но вот взаимоотношения с Варенькой… Тут все сложнее.

Уже первое письмо Варвары Алексеевны действует в этом смысле на Девушкина отрезвляюще. Бедный Макар Алексеевич вообразил, что Варенька для него подняла оконную занавеску – знак ему условный подает. А оказалось: «…про занавеску и не думала; она, верно, сама зацепилась…» Узнав об этом, Макар Алексеевич расстроился, да и в чувствах своих забил отбой, чтобы не подумала, не дай Бог, чего-нибудь лишнего: «Отеческая приязнь одушевляла меня, единственно чистая отеческая приязнь, Варвара Алексеевна; ибо я занимаю у вас место отца родного…» (колебания чувств Девушкина – вернее, позиции – отражают его обращения в письмах, от доверчивого «Голубчик мой, Варенька!» до холодно-официального: «Милостивая государыня, Варвара Алексеевна!»).

Эпизод с занавеской характерен тем, что здесь прекраснодушные мечтания и иллюзии героя были опрокинуты и развеяны самой жизнью. И в этом смысле эпизод оказался предвестием заключительных сцен, когда на горизонте обозначилась реальная угроза в лице господина Быкова и Макар Алексеевич понял, что он может потерять Вареньку навсегда.

Однако прежде чем это произошло, случилось еще одно важное событие. Макар Алексеевич предстал перед своим начальником генералом, как в свое время Акакий Акакиевич – перед «значительным лицом». Смысл этого эпизода также раскрывается при сопоставлении со сценой из «Шинели».

Макар Алексеевич, направляясь к генералу, успевает увидеть свое отражение в зеркале. И, увидев, оторопел, растерялся («Я взглянул направо в зеркало, так

просто было отчего с ума сойти, что я там увидел…»). В сцене аудиенции в «Шинели» никакого зеркала, никакого отражения нет. Мотив зеркала внесен Достоевским именно в соответствии с новой трактовкой темы: он не только представляет нам, читателям, облик героя, но и следит за тем, как этот облик становится «предметом его мучительного самосознания» (М.М.Бахтин), какие он вызывает в нем мысли и переживания.

Но отличие – и в самом развитии сюжета. Акакий Акакиевич явился к значительному лицу в трудную минуту за помощью – и ушел не только с пустыми руками, но еще и получив «надлежащее распеканье». Макар Алексеевич ни о чем генерала просить не собирался, но неожиданно был им обласкан и облагодетельствован.

«Добрый начальник» также появился в «Бедных людях» в соответствии с новым решением темы.

В самом деле, представим себе, что в «Шинели» «значительное лицо» повел бы себя иным, достойным образом – возвратил бы Башмачкину его потерю, поддержал бы его, обласкал. Тогда бы события повести приняли другой ход, и трагической развязки не произошло. Иное дело – «Бедные люди». Даже добрый начальник, даже его участие и помощь ничего не могли изменить в судьбе Макара Девушкина и отвратить печальный финал.

Одно из последних писем к Вареньке Макар Алексеевич начинает так: «Умоляю вас, родная моя, не разлучайтесь со мною теперь, когда я совершенно счастлив и всем доволен». За этой просьбой скрывается наивная вера, что перемена к лучшему (после аудиенции у генерала) должна распространиться и на область взаимоотношений его с Варенькой, между тем как они-то этому действию неподвластны.

И здесь мы должны различать отношение к гоголевской повести Девушкина и отношение самого автора. Для Девушкина «Шинель» неприемлема вдвойне: и потому, что дает, с его точки зрения, сниженное изображение героя, не считается с его заветными, духовными стремлениями; и потому, что приводит к беспощадно-суровому, трагическому исходу. Первый пункт его «критики» поддерживает сам автор – поддерживает в том смысле, что открывает в своем герое «внутреннего человека», открывает еще не освоенные литературой сферы сознания и самосознания. Но во втором «пункте» Достоевский решительно расходится с героем, ибо показывает крушение высокой мечты Макара

Алексеевича с той же бескомпромиссной правдивостью, с какой Гоголь показывал крушение «идеи шинели».

В том жанре, к которому относятся «Бедные люди» (роман в письмах), у автора нет иной возможности высказать свое мнение и прокорректировать героя, как только с помощью реального развития действия. И Достоевский неоднократно пользуется этой возможностью, сталкивая представления Макара Алексеевича с действительностью и отмечая – или, вернее, заставляя нас чувствовать – их несоответствие.

И все же есть одно место, где автор, выходя за пределы суждений своих персонажей, то есть за пределы их писем, дает иную, стороннюю точку зрения на все происходящее. Говорю об эпиграфе к роману, взятому из одного рассказа известного писателя и философа В. Ф. Одоевского. Причем и здесь авторская точка зрения выражена способом от противного, ибо она явно противостоит той позиции, которая обозначена в эпиграфе.

Вдумайтесь в эпиграф: некое незнакомое нам лицо, судя по всему ворчун и брюзга, жалуется на писателей: «Нет чтобы написать что-нибудь полезное, приятное, усладительное, а то всю подноготную в земле вырывают!.. Вот уж запретил бы им писать!»

Какие знакомые интонации: ведь и Макар Девушкин был против того, чтоб до «подноготной» докапываться, выступал за успокаивающее, усладительное чтение (однажды он далее буквально посоветовал Вареньке: «Когда конфетку во рту держите – вот когда прочтите»). И он готов был видеть в авторе «Шинели» чуть ли не пасквилянта, которому следовало бы запретить писать. В свете эпиграфа некоторые рассуждения Макара Алексеевича приобретают ироническую подцветку.

Но эта же подцветка усиливает звучание трагической темы романа, который в своей тенденции раскрыть весь ход жизни без прикрас противостоит и эпиграфу, и наивным верованиям Девушкина.

VII

Достоевский вошел в мировую культуру как величайший художник-психолог, проникший в самые глубокие тайники человеческой души. Эти достижения связаны преимущественно со зрелым и поздним творчеством писателя, с романами 60—70-х годов: «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы», а также другими произведениями.

Раннее творчество Достоевского, ограниченное периодом от появления «Бедных людей» до ареста и ссылки за участие в обществе петрашевцев (1849), выглядит сравнительно скромным на фоне его позднейших достижений. Но уже тогда обозначилось «новое слово» писателя, наметился путь к глубинам жизненных отношений и человеческой психологии.

Посмотрим с этой точки зрения еще раз на главного героя первого романа Достоевского. Какой это текучий, изменчивый, сложный характер!

Что, например, представляет собой его чувство к Вареньке? Конечно, он далек от нескромных желаний, но всё переживаемое им так сложно и переменчиво… Об этом прекрасно сказал Белинский: «В чувстве Макара Алексеевича к его „маточке, ангельчику и херувимчику Вареньке“ есть что-то похожее на чувство любовника, – на чувство, которое он силится не признавать в себе, но которое у него против воли по временам прорывается наружу и которое он не стал бы скрывать, если б заметил, что она[5 - Курсив в оригинале.] смотрит на него не как на вовсе неуместное. Но бедняк видит, что этого нет, и с героическим самоотвержением остается при роли родственника-покровителя… Эти отношения, это чувство, эта старческая страсть, в которой так чудно слились и доброта сердечная, и любовь, и привычка, – всё это развито автором с удивительным искусством, с неподражаемым мастерством». Так много движений переплелось в его чувстве и так они тонки, что критику приходится постоянно оговариваться, уточнять самого себя и оперировать не только красками, но и полутонами (не чувство любовника, но «что-то похожее на чувство любовника»).

А что такое стремление Девушкина быть только «переписчиком»? И верен ли он этому стремлению? Вначале как будто верен – высоко мыслью не заносится, пишет «без слога, а так, как… надушу Господь положит». Но очень уж подозрительно его усилие решительно противопоставить себя «сочинителям» – не родственно ли оно свойственному ему смирению, что паче гордости? Очень уж часто примеривает он к себе амплуа писателя – как бы играет с ним, привыкает к нему («Ну вот, например, положим, что вдруг вышла бы в свет

книжка под титулом „Стихотворения Макара Девушкина“»). Диалог же с творцами «Станционного смотрителя» или «Шинели» еще более сроднил Девушкина с этим амплуа: тот, кто в сфере литературы выступает судьей и оценщиком, поневоле является «сочинителем», хотя порою и стихийным. Впрочем, постепенно и стихийность его уступает место осознанной цели – в одном из последних писем он замечает, что у него «с недавнего времени слог формируется», а в другом – что он «наблюдения… бумаге передавал в виде дружеских писем». К тому же Девушкин хорошо сознает значение всего им пережитого и передуманного, говоря не от своего только имени, но часто и от имени многих себе подобных – «бедных людей».

А что такое бедные люди – словосочетание, вынесенное в заглавие романа? Поначалу кажется, что подразумевается лишь недостаточность средств существования, бедность материальная и физическая. Но вот Девушкин говорит о семействе Горшкова: «Бедны-то они, бедны – Господи, Бог мой! Всегда у них в комнате тихо и смирно, словно и не живет никто». Бедность здесь в одном ряду с покорностью, тишиной, смирением. Но это обманчивое смирение. «Бедные люди капризны, – это уж так от природы устроено… Он, бедный-то человек, он взыскателен; он и на свет-то Божий иначе смотрит, и на каждого прохожего косо глядит, да вокруг себя смущенным взором поводит, да прислушивается к каждому слову, – дескать, не про него ли там говорят?.. И ведомо каждому, что бедный человек хуже ветошки и никакого ни от кого уважения получить не может, что уж там ни пиши…»

Перед нами целая гамма чувств и переживаний в духе той сложной психологии, которая отличает характер самого Девушкина. И мы понимаем, почему Достоевский назвал свой роман не «Бедняки», не «Бедные», а именно «Бедные люди», где значимы оба понятия.

Так уже в первом своем произведении писатель приступил к решению той задачи, которую впоследствии определил следующими словами: «При полном реализме открыть человека в человеке».

Ю. Манн

Бедные люди

Ох уж эти мне сказочники! Нет чтобы написать что-нибудь полезное, приятное, усладительное, а то всю подноготную в земле вырывают!.. Вот уж запретил бы им писать! Ну, на что это похоже: читаешь… невольно задумаешься, – а там всякая дребедень и пойдет в голову; право бы, запретил им писать; так-таки просто вовсе бы запретил.[6 - Ох уж эти мне сказочники… – Эпиграф взят из рассказав. Ф. Одоевского «Живой мертвец».]

Кн. В. Ф. Одоевский

Апреля 8.

Бесценная моя Варвара Алексеевна!

Вчера я был счастлив, чрезмерно счастлив, донельзя счастлив! Вы хоть раз в жизни, упрямица, меня послушались. Вечером, часов в восемь, просыпаюсь (вы знаете, маточка, что я часочек-другой люблю поспать после должности), свечку достал, приготовляю бумаги, чиню перо, вдруг, невзначай, подымаю глаза, – право, у меня сердце вот так и запрыгало! Так вы таки поняли, чего мне хотелось, чего сердчишку моему хотелось! Вижу, уголочек занавески у окна вашего загнут и прицеплен к горшку с бальзамином, точнехонько так, как я вам тогда намекал; тут же показалось мне, что и личико ваше мелькнуло у окна, что и вы ко мне из комнатки вашей смотрели, что и вы обо мне думали. И как же мне досадно было, голубчик мой, что миловидного личика-то вашего я не мог разглядеть хорошенько! Было время, когда и мы светло видели, маточка. Не радость старость, родная моя! Вот и теперь всё как-то рябит в глазах; чуть поработаешь вечером, попишешь что-нибудь, наутро и глаза раскраснеются, и слезы текут так, что даже совестно перед чужими бывает. Однако же в воображении моем так и засветлела ваша улыбочка, ангельчик, ваша добренькая, приветливая улыбочка; и на сердце моем было точно такое ощущение, как тогда, как я поцеловал вас, Варенька, – помните ли, ангельчик? Знаете ли, голубчик мой, мне даже показалось, что вы там мне пальчиком погрозили? Так ли, шалунья? Непременно вы это всё опишите подробнее в вашем письме.

Ну, а какова наша придумочка насчет занавески вашей, Варенька? Премило, не правда ли? Сижу ли за работой, ложусь ли спать, просыпаюсь ли, уж знаю, что и вы там обо мне думаете, меня помните, да и сами-то здоровы и веселы. Оп?устите занавеску – значит, прощайте, Макар Алексеевич, спать пора! Подымете – значит, с добрым утром, Макар Алексеевич, каково-то вы спали, или: каково-то вы в вашем здоровье, Макар Алексеевич? Что же до меня касается, то я, слава Творцу, здорова и благополучна! Видите ли, душечка моя, как это ловко придумано; и писем не нужно! Хитро, не правда ли? А ведь придумочка-то моя! А что, каков я на эти дела, Варвара Алексеевна?

Доложу я вам, маточка моя, Варвара Алексеевна, что спал я сию ночь добрым порядком, вопреки ожиданий, чем и весьма доволен; хотя на новых квартирах, с новоселья, и всегда как-то не спится; всё что-то так, да не так! Встал я сегодня таким ясным соколом – любо-весело! Что это какое утро сегодня хорошее, маточка! У нас растворили окошко; солнышко светит, птички чирикают, воздух дышит весенними ароматами, и вся природа оживляется – ну, и остальное там всё было тоже соответственное; всё в порядке, по-весеннему. Я даже и помечтал сегодня довольно приятно, и всё об вас были мечтания мои, Варенька. Сравнил я вас с птичкой небесной, на утеху людям и для украшения природы созданной. Тут же подумал я, Варенька, что и мы, люди, живущие в заботе и треволнении, должны тоже завидовать беззаботному и невинному счастию небесных птиц, – ну, и остальное всё такое же, сему же подобное; то есть я всё такие сравнения отдаленные делал. У меня там книжка есть одна, Варенька, так в ней то же самое, всё такое же весьма подробно описано. Я к тому пишу, что ведь разные бывают мечтания, маточка. А вот теперь весна, так и мысли всё такие приятные, острые, затейливые, и мечтания приходят нежные; всё в розовом цвете. Я к тому и написал это всё; а впрочем, я это всё взял из книжки. Там сочинитель обнаруживает такое же желание в стишках и пишет —

Зачем я не птица, не хищная птица!

Ну и т. д. Там и еще есть разные мысли, да Бог с ними! А вот куда это вы утром ходили сегодня, Варвара Алексеевна? Я еще и в должность не сбирался, а вы, уж подлинно как пташка весенняя, порхнули из комнаты и по двору прошли такая веселенькая. Как мне-то было весело, на вас глядя! Ах, Варенька, Варенька! вы не грустите; слезами горю помочь нельзя; это я знаю, маточка моя, это я на опыте знаю. Теперь же вам так покойно, да и здоровьем вы немного поправились. Ну, что ваша Федора? Ах, какая же она добрая женщина! Вы мне, Варенька, напишите, как вы с нею там живете теперь и всем ли вы довольны?

Федора-то немного ворчлива; да вы на это не смотрите, Варенька. Бог с нею! Она такая добрая.

Я уже вам писал о здешней Терезе, – тоже и добрая и верная женщина. А уж как я беспокоился об наших письмах! Как они передаваться-то будут? А вот как тут послал Господь на наше счастие Терезу. Она женщина добрая, кроткая, бессловесная. Но наша хозяйка просто безжалостная. Затирает ее в работу словно ветошку какую-нибудь.

Ну, в какую же я трущобу попал, Варвара Алексеевна! Ну, уж квартира! Прежде ведь я жил таким глухарем, сами знаете: смирно, тихо; у меня, бывало, муха летит, так и муху слышно. А здесь шум, крик, гвалт! Да ведь вы еще и не знаете, как это всё здесь устроено. Вообразите, примерно, длинный коридор, совершенно темный и нечистый. По правую его руку будет глухая стена, а по левую всё двери да двери, точно нумера, всё так в ряд простираются. Ну, вот и нанимают эти нумера, а в них по одной комнатке в каждом; живут в одной и по двое, и по трое. Порядку не спрашивайте – Ноев ковчег! Впрочем, кажется, люди хорошие, всё такие образованные, ученые. Чиновник один есть (он где-то по литературной части), человек начитанный: и о Гомере, и о Брамбеусе[7 - ….о Брамбеусе… – Барон Брамбеус – один из псевдонимов О. И. Сенковского, журналиста и писателя.], и о разных у них там сочинителях говорит, обо всем говорит, – умный человек! Два офицера живут и всё в карты играют. Мичман живет; англичанин-учитель живет. Постойте, я вас потешу, маточка; опишу их в будущем письме сатирически, то есть как они там сами по себе, со всею подробностию. Хозяйка наша, – очень маленькая и нечистая старушонка, – целый день в туфлях да в шлафроке ходит и целый день всё кричит на Терезу. Я живу в кухне, или гораздо правильнее будет сказать вот как: тут подле кухни есть одна комната (а у нас, нужно вам заметить, кухня чистая, светлая, очень хорошая), комнатка небольшая, уголок такой скромный… то есть, или еще лучше сказать, кухня большая в три окна, так у меня вдоль поперечной стены перегородка, так что и выходит как бы еще комната, нумер сверхштатный; всё просторное, удобное, и окно есть, и всё, – одним словом, всё удобное. Ну, вот это мой уголочек. Ну, так вы и не думайте, маточка, чтобы тут что-нибудь такое иное и таинственный смысл какой был; что вот, дескать, кухня! – то есть я, пожалуй, и в самой этой комнате за перегородкой живу, но это ничего; я себе ото всех особняком, помаленьку живу, втихомолочку живу. Поставил я у себя кровать, стол, комод, стульев парочку, образ повесил. Правда, есть квартиры и лучше, – может быть, есть и гораздо лучшие, – да удобство-то главное; ведь это я всё для удобства, и вы не думайте, что для другого чего-нибудь. Ваше окошко напротив, через двор; и двор-то узенький, вас мимоходом увидишь – всё веселее мне,

горемычному, да и дешевле.

У нас здесь самая последняя комната, со столом, тридцать пять рублей ассигнациями стоит. Не по карману! А моя квартира стоит мне семь рублей ассигнациями, да стол пять целковых: вот двадцать четыре с полтиною, а прежде ровно тридцать платил, зато во многом себе отказывал; чай пивал не всегда, а теперь вот и на чай и на сахар выгадал. Оно, знаете ли, родная моя, чаю не пить как-то стыдно; здесь всё народ достаточный, так и стыдно. Ради чужих и пьешь его, Варенька, для вида, для тона; а по мне всё равно, я неприхотлив. Положите так, для карманных денег – всё сколько-нибудь требуется – ну, сапожишки какие-нибудь, платьишко – много ль останется? Вот и всё мое жалованье. Я-то не ропщу и доволен. Оно достаточно. Вот уже несколько лет достаточно; награждения тоже бывают. Ну, прощайте, мой ангельчик. Я там купил парочку горшков с бальзаминчиком и гераньку – недорого. А вы, может быть, и резеду любите? Так и резеда есть, вы напишите; да, знаете ли, всё как можно подробнее напишите. Вы, впрочем, не думайте чего-нибудь и не сомневайтесь, маточка, обо мне, что я такую комнату нанял. Нет, это удобство заставило, и одно удобство соблазнило меня. Я ведь, маточка, деньги коплю, откладываю; у меня денежка водится. Вы не смотрите на то, что я такой тихонький, что, кажется, муха меня крылом перешибет. Нет, маточка, я про себя не промах, и характера совершенно такого, как прилично твердой и безмятежной души человеку. Прощайте, мой ангельчик! Расписался я вам чуть не на двух листах, а на службу давно пора. Целую ваши пальчики, маточка, и пребываю

вашим нижайшим слугою и вернейшим другом

Макаром Девушкиным.

P. S. Об одном прошу: отвечайте мне, ангельчик мой, как можно подробнее. Я вам при сем посылаю, Варенька, фунтик конфет; так вы их скушайте на здоровье, да, ради Бога, обо мне не заботьтесь и не будьте в претензии. Ну, так прощайте же, маточка.

Апреля 8.

Милостивый государь, Макар Алексеевич!

Знаете ли, что придется наконец совсем поссориться с вами? Клянусь вам, добрый Макар Алексеевич, что мне даже тяжело принимать ваши подарки. Я знаю, чего они вам стоят, каких лишений и отказов в необходимейшем себе самому. Сколько раз я вам говорила, что мне не нужно ничего, совершенно ничего; что я не в силах вам воздать и за те благодеяния, которыми вы доселе осыпали меня. И зачем мне эти горшки? Ну, бальзаминчики еще ничего, а геранька зачем? Одно словечко стоит неосторожно сказать, как, например, об этой герани, уж вы тотчас и купите; ведь, верно, дорого? Что за прелесть на ней цветы! Пунсовые, крестиками. Где это вы достали такую хорошенькую гераньку? Я ее посредине окна поставила, на самом видном месте; на полу же поставлю скамейку, а на скамейку еще цветов поставлю; вот только дайте мне самой разбогатеть! Федора не нарадуется; у нас теперь словно рай в комнате, – чисто, светло! Ну, а конфеты зачем? И право, я сейчас же по письму угадала, что у вас что-нибудь да не так – и рай, и весна, и благоухания летают, и птички чирикают. Что это, я думаю, уж нет ли тут и стихов? Ведь, право, одних стихов и недостает в письме вашем, Макар Алексеевич! И ощущения нежные, и мечтания в розовом цвете – всё здесь есть! Про занавеску и не думала; она, верно, сама зацепилась, когда я горшки переставляла; вот вам!

Ах, Макар Алексеевич! Что вы там ни говорите, как ни рассчитывайте свои доходы, чтоб обмануть меня, чтобы показать, что они все сплошь идут на вас одного, но от меня не утаите и не скроете ничего. Ясно, что вы необходимого лишаетесь из-за меня. Что это вам вздумалось, например, такую квартиру нанять? Ведь вас беспокоят, тревожат; вам тесно, неудобно. Вы любите уединение, а тут и чего-чего нет около вас! А вы бы могли гораздо лучше жить, судя по жалованью вашему. Федора говорит, что вы прежде и не в пример лучше теперешнего жили. Неужели ж вы так всю свою жизнь прожили, в одиночестве, в лишениях, без радости, без дружеского приветливого слова, у чужих людей углы нанимая? Ах, добрый друг, как мне жаль вас! Щадите хоть здоровье свое, Макар Алексеевич! Вы говорите, что у вас глаза слабеют, так не пишите при свечах; зачем писать? Ваша ревность к службе и без того, вероятно, известна начальникам вашим.

Еще раз умоляю вас, не тратьте на меня столько денег. Знаю, что вы меня любите, да сами-то вы не богаты… Сегодня я тоже весело встала. Мне было так хорошо; Федора давно уже работала, да и мне работу достала. Я так обрадовалась; сходила только шелку купить, да и принялась за работу. Целое утро мне было так легко на душе, я так была весела! А теперь опять всё черные мысли, грустно; всё сердце изныло.

Ах, что-то будет со мною, какова-то будет моя судьба! Тяжело то, что я в такой неизвестности, что я не имею будущности, что я и предугадывать не могу о том, что со мной станется. Назад и посмотреть страшно. Там всё такое горе, что сердце пополам рвется при одном воспоминании. Век буду я плакаться на злых людей, меня погубивших!

Смеркается. Пора за работу. Я вам о многом хотела бы написать, да некогда, к сроку работа. Нужно спешить. Конечно, письма хорошее дело; всё не так скучно. А зачем вы сами к нам никогда не зайдете? Отчего это, Макар Алексеевич? Ведь теперь вам близко, да и время иногда у вас выгадывается свободное. Зайдите, пожалуйста! Я видела вашу Терезу. Она, кажется, такая больная; жалко было ее; я ей дала двадцать копеек. Да! чуть было не забыла: непременно напишите всё, как можно подробнее, о вашем житье-бытье. Что за люди такие кругом вас и ладно ли вы с ними живете? Мне очень хочется всё это знать. Смотрите же, непременно напишите! Сегодня уж я нарочно угол загну. Ложитесь пораньше; вчера я до полночи у вас огонь видела. Ну, прощайте. Сегодня и тоска, и скучно, и грустно! Знать, уж день такой! Прощайте.

Ваша

Варвара Доброселова.

Апреля 8.

Милостивая государыня,

Варвара Алексеевна!

Да, маточка, да, родная моя, знать, уж денек такой на мою долю горемычную выдался! Да; подшутили вы надо мной, стариком, Варвара Алексеевна! Впрочем, сам виноват, кругом виноват! Не пускаться бы на старости лет с клочком волос в амуры да в экивоки… И еще скажу, маточка: чуден иногда человек, очень чуден. И, святые вы мои! о чем заговорит, занесет подчас! А что выходит-то, что следует-то из этого? Да ровно ничего не следует, а выходит такая дрянь, что убереги меня, Господи! Я, маточка, я не сержусь, а так досадно только очень вспоминать обо всем, досадно, что я вам написал так фигурно и глупо. И в должность-то я пошел сегодня таким гоголем-щеголем; сияние такое было на сердце. На душе ни с того ни с сего такой праздник был; весело было! За бумаги принялся рачительно – да что вышло-то потом из этого! Уж потом только как осмотрелся, так всё стало по-прежнему – и серенько и темненько. Всё те же чернильные пятна, всё те же столы и бумаги, да и я всё такой же; так, каким был, совершенно таким же и остался, – так чего же тут было на Пегасе-то ездить? Да из чего это вышло-то всё? Что солнышко проглянуло да небо полазоревело! от этого, что ли? Да и что за ароматы такие, когда на нашем дворе под окнами и чему-чему не случается быть! Знать, это мне всё сдуру так показалось. А ведь случается же иногда заблудиться так человеку в собственных чувствах своих да занести околесную. Это ни от чего иного происходит, как от излишней, глупой горячности сердца. Домой-то я не пришел, а приплелся; ни с того ни с сего голова у меня разболелась; уж это, знать, всё одно к одному. (В спину, что ли, надуло мне.) Я весне-то обрадовался, дурак дураком, да в холодной шинели пошел. И в чувствах-то вы моих ошиблись, родная моя! Излияние-то их совершенно в другую сторону приняли. Отеческая приязнь одушевляла меня, единственно чистая отеческая приязнь, Варвара Алексеевна; ибо я занимаю у вас место отца родного, по горькому сиротству вашему; говорю это от души, от чистого сердца, по-родственному. Уж как бы там ни было, а я вам хоть дальний родной, хоть, по пословице, и седьмая вода на киселе, а все-таки родственник, и теперь ближайший родственник и покровитель; ибо там, где вы ближе всего имели право искать покровительства и защиты, нашли вы предательство и обиду. А насчет стишков скажу я вам, маточка, что неприлично мне на старости лет в составлении стихов упражняться. Стихи вздор! За стишки и в школах теперь ребятишек секут… вот оно что, родная моя.

Что это вы пишете мне, Варвара Алексеевна, про удобства, про покой и про разные разности? Маточка моя, я не брюзглив и не требователен, никогда лучше теперешнего не жил; так чего же на старости-то лет привередничать? Я сыт, одет, обут; да и куда нам затеи затевать! Не графского рода! Родитель мой был не из дворянского звания и со всей-то семьей своей был беднее меня по доходу.

Я не неженка! Впрочем, если на правду пошло, то на старой квартире моей всё было не в пример лучше; попривольнее было, маточка. Конечно, и теперешняя моя квартира хороша, даже в некотором отношении веселее и, если хотите, разнообразнее; я против этого ничего не говорю, да всё старой жаль. Мы, старые, то есть пожилые, люди, к старым вещам, как к родному чему, привыкаем. Квартирка-то была, знаете, маленькая такая; стены были… ну, да что говорить! – стены были, как и все стены, не в них и дело, а вот воспоминания-то обо всем моем прежнем на меня тоску нагоняют… Странное дело – тяжело, а воспоминания как будто приятные. Даже что дурно было, на что подчас и досадовал, и то в воспоминаниях как-то очищается от дурного и предстает воображению моему в привлекательном виде. Тихо жили мы, Варенька; я да хозяйка моя, старушка, покойница. Вот и старушку-то мою с грустным чувством припоминаю теперь! Хорошая была она женщина и недорого брала за квартиру. Она, бывало, всё вязала из лоскутков разных одеяла на аршинных спицах; только этим и занималась. Огонь-то мы с нею вместе держали, так за одним столом и работали. Внучка у ней Маша была – ребенком еще помню ее – лет тринадцати теперь будет девочка. Такая шалунья была, веселенькая, всё нас смешила; вот мы втроем так и жили. Бывало, в длинный зимний вечер присядем к круглому столу, выпьем чайку, а потом и за дело примемся. А старушка, чтоб Маше не скучно было да чтоб не шалила шалунья, сказки, бывало, начнет сказывать. И какие сказки-то были! Не то что дитя, и толковый и умный человек заслушается. Чего! сам я, бывало, закурю себе трубочку, да так заслушаюсь, что и про дело забуду. А дитя-то, шалунья-то наша, призадумается; подопрет ручонкой розовую щечку, ротик свой раскроет хорошенький и, чуть страшная сказка, так жмется, жмется к старушке. А нам-то любо было смотреть на нее; и не увидишь, как свечка нагорит, не слышишь, как на дворе подчас и вьюга злится и метель метет. Хорошо было нам жить, Варенька; и вот так-то мы чуть ли не двадцать лет вместе прожили. Да что я тут заболтался! Вам, может быть, такая материя не нравится, да и мне вспоминать не так-то легко, особливо теперь: время сумерки. Тереза с чем-то возится, у меня болит голова, да и спина немного болит, да и мысли-то такие чудные, как будто и они тоже болят; грустно мне сегодня, Варенька! Что же это вы пишете, родная моя? Как же я к вам приду? Голубчик мой, что люди-то скажут? Ведь вот через двор перейти нужно будет, наши заметят, расспрашивать станут, – толки пойдут, сплетни пойдут, делу дадут другой смысл. Нет, ангельчик мой, я уж вас лучше завтра у всенощной увижу; это будет благоразумнее и для обоих нас безвреднее. Да не взыщите на мне, маточка, за то, что я вам такое письмо написал; как перечел, так и вижу, что всё такое бессвязное. Я, Варенька, старый, неученый человек; смолоду не выучился, а теперь и в ум ничего не пойдет, коли снова учиться начинать. Сознаюсь, маточка, не мастер описывать, и знаю, без

чужого иного указания и пересмеивания, что если захочу что-нибудь написать позатейливее, так вздору нагорожу. Видел вас у окна сегодня, видел, как вы стору опустили. Прощайте, прощайте, храни вас Господь! Прощайте, Варвара Алексеевна.

Ваш бескорыстный друг

Макар Девушкин.

P. S. Я, родная моя, сатиры-то ни об ком не пишу теперь. Стар я стал, матушка, Варвара Алексеевна, чтоб попусту зубы скалить! и надо мной засмеются, по русской пословице: кто, дескать, другому яму роет, так тот… и сам туда же.

Апреля 9.

Милостивый государь,

Макар Алексеевич!

Ну, как вам не стыдно, друг мой и благодетель, Макар Алексеевич, так закручиниться и закапризничать. Неужели вы обиделись! Ах, я часто бываю неосторожна, но не думала, что вы слова мои примете за колкую шутку. Будьте уверены, что я никогда не осмелюсь шутить над вашими годами и над вашим характером. Случилось же это всё по моей ветрености, а более потому, что ужасно скучно, а от скуки и за что не возьмешься? Я же полагала, что вы сами в своем письме хотели посмеяться. Мне ужасно грустно стало, когда я увидела, что вы недовольны мною. Нет, добрый друг мой и благодетель, вы ошибетесь, если будете подозревать меня в нечувствительности и неблагодарности. Я умею оценить в моем сердце всё, что вы для меня сделали, защитив меня от злых людей, от их гонения и ненависти. Я вечно буду за вас Бога молить, и если моя молитва доходна к Богу и Небо внемлет ей, то вы будете счастливы.

Я сегодня чувствую себя очень нездоровою. Во мне жар и озноб попеременно. Федора за меня очень беспокоится. Вы напрасно стыдитесь ходить к нам, Макар Алексеевич. Какое другим дело! Вы с нами знакомы, и дело с концом!.. Прощайте, Макар Алексеевич. Более писать теперь не о чем, да и не могу: ужасно нездоровится. Прошу вас еще раз не сердиться на меня и быть уверену в том всегдашнем почтении и в той привязанности,

с каковыми честь имею пребыть наипреданнейшею и покорнейшею услужницей вашей

Варварой Доброселовой.

Апреля 12.

Милостивая государыня,

Варвара Алексеевна!

Ах, маточка моя, что это с вами! Ведь вот каждый-то раз вы меня так пугаете. Пишу вам в каждом письме, чтоб вы береглись, чтоб вы кутались, чтоб не выходили в дурную погоду, осторожность во всем наблюдали бы, – а вы, ангельчик мой, меня и не слушаетесь. Ах, голубчик мой, ну, словно вы дитя какое-нибудь! Ведь вы слабенькие, как соломинка, слабенькие, это я знаю. Чуть ветерочек какой, так уж вы и хвораете. Так остерегаться нужно, самой о себе стараться, опасностей избегать и друзей своих в горе и в уныние не вводить.

Изъявляете желание, маточка, в подробности узнать о моем житье-бытье и обо всем меня окружающем. С радостию спешу исполнить ваше желание, родная моя. Начну сначала, маточка: больше порядку будет. Во-первых, в доме у нас, на чистом входе, лестницы весьма посредственные; особливо парадная – чистая, светлая, широкая, всё чугун да красное дерево. Зато уж про черную и не спрашивайте: винтовая, сырая, грязная, ступеньки поломаны, и стены такие жирные, что рука прилипает, когда на них опираешься. На каждой площадке стоят сундуки, стулья и шкафы поломанные, ветошки развешаны, окна повыбиты; лоханки стоят со всякою нечистью, с грязью, с сором, с яичною

скорлупою да с рыбьими пузырями; запах дурной… одним словом, нехорошо.

Я уже описывал вам расположение комнат; оно, нечего сказать, удобно, это правда, но как-то в них душно, то есть не то чтобы оно пахло дурно, а так, если можно выразиться, немного гнилой, остро-услащенный запах какой-то. На первый раз впечатление невыгодное, но это всё ничего; стоит только минуты две побыть у нас, так и пройдет, и не почувствуешь, как всё пройдет, потому что и сам как-то дурно пропахнешь, и платье пропахнет, и руки пропахнут, и всё пропахнет, – ну, и привыкнешь. У нас чижики так и мрут. Мичман уж пятого покупает, – не живут в нашем воздухе, да и только. Кухня у нас большая, обширная, светлая. Правда, по утрам чадно немного, когда рыбу или говядину жарят, да и нальют и намочат везде, зато уж вечером рай. В кухне у нас на веревках всегда белье висит старое; а так как моя комната недалеко, то есть почти примыкает к кухне, то запах от белья меня беспокоит немного; но ничего: поживешь и попривыкнешь.

С самого раннего утра, Варенька, у нас возня начинается, встают, ходят, стучат, – это поднимаются все, кому надо, кто в службе или так, сам по себе; все пить чай начинают. Самовары у нас хозяйские, большею частик), мало их, ну так мы все очередь держим; а кто попадет не в очередь со своим чайником, так сейчас тому голову вымоют. Вот я было попал в первый раз, да… впрочем, что же писать! Тут-то я со всеми и познакомился. С мичманом с первым познакомился; откровенный такой, всё мне рассказал: про батюшку, про матушку, про сестрицу, что за тульским заседателем, и про город Кронштадт. Обещал мне во всем покровительствовать и тут же меня к себе на чай пригласил. Отыскал я его в той самой комнате, где у нас обыкновенно в карты играют. Там мне дали чаю и непременно хотели, чтоб я в азартную игру с ними играл. Смеялись ли они, нет ли надо мною, не знаю; только сами они всю ночь напролет проиграли, и когда я вошел, так тоже играли. Мел, карты, дым такой ходил по всей комнате, что глаза ело. Играть я не стал, и мне сейчас заметили, что я про философию говорю. Потом уж никто со мною и не говорил всё время; да я, по правде, рад был тому. Не пойду к ним теперь; азарт у них, чистый азарт! Вот у чиновника по литературной части бывают также собрания по вечерам. Ну, у того хорошо, скромно, невинно и деликатно; всё на тонкой ноге.

Ну, Варенька, замечу вам еще мимоходом, что прегадкая женщина наша хозяйка, к тому же сущая ведьма. Вы видели Терезу. Ну, что она такое на самом-то деле? Худая, как общипанный, чахлый цыпленок. В доме и людей-то всего двое: Тереза да Фальдони[8 - …Тереза да Фальдони… – Персонален из сентиментального романа французского писателя Н. Ж. Леонара «Тереза и Фальдони, или Письма двух любовников, живущих в Лионе» (русский перевод был осуществлен М. Т. Каченовским). Эти имена стали нарицательными для обозначения несчастных любовников.], хозяйский слуга. Я не знаю, может быть, у него есть и другое какое имя, только он и на это откликается; все его так зовут. Он рыжий, чухна какая-то, кривой, курносый, грубиян: всё с Терезой бранится, чуть не дерутся. Вообще сказать, жить мне здесь не так чтобы совсем было хорошо… Чтоб этак всем разом ночью заснуть и успокоиться – этого никогда не бывает. Уж вечно где-нибудь сидят да играют, а иногда и такое делается, что зазорно рассказывать. Теперь уж я все-таки пообвык, а вот удивляюсь, как в таком содоме семейные люди уживаются. Целая семья бедняков каких-то у нашей хозяйки комнату нанимает, только не рядом с другими нумерами, а по другую сторону, в углу, отдельно. Люди смирные! Об них никто ничего и не слышит. Живут они в одной комнатке, огородясь в ней перегородкою. Он какой-то чиновник без места, из службы лет семь тому исключенный за что-то. Фамилья его Горшков; такой седенький, маленький; ходит в таком засаленном, в таком истертом платье, что больно смотреть; куда хуже моего! Жалкий, хилый такой (встречаемся мы с ним иногда в коридоре); коленки у него дрожат, руки дрожат, голова дрожит, уж от болезни, что ли, какой, Бог его знает; робкий, боится всех, ходит стороночкой; уж я застенчив подчас, а этот еще хуже. Семейства у него – жена и трое детей. Старший, мальчик, весь в отца, тоже такой чахлый. Жена была когда-то собою весьма недурна, и теперь заметно; ходит, бедная, в таком жалком отребье. Они, я слышал, задолжали хозяйке; она с ними что-то не слишком ласкова. Слышал тоже, что у самого-то Горшкова неприятности есть какие-то, по которым он и места лишился… процесс не процесс, под судом не под судом, под следствием каким-то, что ли – уж истинно не могу вам сказать. Бедны-то они, бедны – Господи, Бог мой! Всегда у них в комнате тихо и смирно, словно и не живет никто. Даже детей не слышно. И не бывает этого, чтобы когда-нибудь порезвились, поиграли дети, а уж это худой знак. Как-то мне раз, вечером, случилось мимо их дверей пройти; на ту пору в доме стало что-то не по-обычному тихо; слышу всхлипывание, потом шепот, потом опять всхлипывание, точно как будто плачут, да так тихо, так жалко, что у меня всё сердце надорвалось, и потом всю ночь мысль об этих бедняках меня не покидала, так что и заснуть не удалось хорошенько.

Ну, прощайте, дружочек бесценный мой, Варенька! Описал я вам всё, как умел. Сегодня я весь день всё только об вас и думаю. У меня за вас, родная моя, все сердце изныло. Ведь вот, душечка моя, я вот знаю, что у вас теплого салопа нет. Уж эти мне петербургские весны, ветры да дождички со снежочком, – уж это смерть моя, Варенька! Такое благорастворение воздухов[9 - …благорастворение воздухов… – Это выражение употребляется в значении: спокойствие, тишина, чудесная погода.], что убереги меня, Господи! Не взыщите, душечка, на писании; слогу нет, Варенька, слогу нет никакого. Хоть бы какой-нибудь был! Пишу, что на ум взбредет, так, чтобы вас только поразвеселить чем-нибудь. Ведь вот если б я учился как-нибудь, дело другое; а то ведь как я учился? даже и не на медные деньги.

Ваш всегдашний и верный друг

Макар Девушкин.

Апреля 25.

Милостивый государь,

Макар Алексеевич!

Сегодня я двоюродную сестру мою Сашу встретила! Ужас! И она погибнет, бедная! Услышала я тоже со стороны, что Анна Федоровна всё обо мне выведывает. Она, кажется, никогда не перестанет меня преследовать. Она говорит, что хочет простить меня, забыть всё прошедшее и что непременно сама навестит меня. Говорит, что вы мне вовсе не родственник, что она ближе мне родственница, что в семейные отношения наши вы не имеете никакого права входить и что мне стыдно и неприлично жить вашей милостыней и на вашем содержании… говорит, что я забыла ее хлеб-соль, что она меня с матушкой, может быть, от голодной смерти избавила, что она нас поила-кормила и с лишком два с половиною года на нас убыточилась, что она нам сверх всего этого долг простила. И матушку-то она пощадить не хотела! А если бы знала бедная матушка, что они со мною сделали! Бог видит!.. Анна Федоровна говорит, что я по глупости моей своего счастия удержать не умела, что она сама меня на счастие наводила, что она ни в чем остальном не виновата и что я сама за честь

свою не умела, а может быть, и не хотела вступиться. А кто же тут виноват, Боже великий! Она говорит, что господин Быков прав совершенно и что не на всякой же жениться, которая… да что писать! Жестоко слышать такую неправду, Макар Алексеевич! Я не знаю, что со мной теперь делается. Я дрожу, плачу, рыдаю; это письмо я вам два часа писала. Я думала, что она по крайней мере сознает свою вину предо мною; а она вот как теперь! Ради Бога, не тревожьтесь, друг мой, единственный доброжелатель мой! Федора всё преувеличивает: я не больна. Я только простудилась немного вчера, когда ходила на Волково к матушке панихиду служить. Зачем вы не пошли вместе со мною; я вас так просила. Ах, бедная, бедная моя матушка, если б ты встала из гроба, если б ты знала, если б ты видела, что они со мною сделали!..

В. Д.

Мая 20.

Голубчик мой, Варенька!

Посылаю вам винограду немного, душечка; для выздоравливающей это, говорят, хорошо, да и доктор рекомендует для утоления жажды, так только единственно для жажды. Вам розанчиков намедни захотелось, маточка; так вот я вам их теперь посылаю. Есть ли у вас аппетит, душечка? – вот что главное. Впрочем, слава Богу, что всё прошло и кончилось и что несчастия наши тоже совершенно оканчиваются. Воздадим благодарение Небу! А что до книжек касается, то достать покамест нигде не могу. Есть тут, говорят, хорошая книжка одна, и весьма высоким слогом написанная; говорят, что хороша, я сам не читал, а здесь очень хвалят. Я просил ее для себя; обещались препроводить. Только будете ли вы-то читать? Вы у меня на этот счет привередница; трудно угодить на ваш вкус, уж я вас знаю, голубчик вы мой; вам, верно, всё стихотворство надобно, воздыханий, амуров, – ну, и стихов достану, всего достану; там есть тетрадка одна переписанная.

Я-то живу хорошо. Вы, маточка, обо мне не беспокойтесь, пожалуйста. А что Федора вам насказала на меня, так всё это вздор; вы ей скажите, что она налгала, непременно скажите ей, сплетнице!.. Я нового вицмундира совсем не

продавал. Да и зачем, сами рассудите, зачем продавать? Вот, говорят, мне сорок рублей серебром награждения выходит, так зачем же продавать? Вы, маточка, не беспокойтесь; она мнительна, Федора-то, она мнительна. Заживем мы, голубчик мой! Только вы-то, ангельчик, выздоравливайте, ради Бога, выздоравливайте, не огорчите старика. Кто это говорит вам, что я похудел? Клевета, опять клевета! здоровехонек и растолстел так, что самому становится совестно, сыт и доволен по горло; вот только бы вы-то выздоравливали! Ну, прощайте, мой ангельчик; целую все ваши пальчики и пребываю

вашим вечным, неизменным другом

Макаром Девушкиным.

P. S. Ах, душенька моя, что это вы опять, в самом деле, стали писать?., о чем вы блажите-то! да как же мне ходить к вам так часто, маточка, как? я вас спрашиваю. Разве темнотою ночною пользуясь; да вот теперь и ночей-то почти не бывает[10 - …да вот теперь и ночей-то почти не бывает… – Конец мая в Петербурге – время белых ночей.]: время такое. Я и то, маточка моя, ангельчик, вас почти совсем не покидал во всё время болезни вашей, во время беспамятства-то вашего; но и тут я и сам уж не знаю, как я все эти дела обделывал; да и то потом перестал ходить; ибо любопытствовать и расспрашивать начали. Здесь уж и без того сплетня заплелась какая-то. Я на Терезу надеюсь; она не болтлива; но всё же, сами рассудите вы, маточка, каково это будет, когда они всё узнают про нас? Что-то они подумают и что они скажут тогда? Так вот вы скрепите сердечко, маточка, да переждите до выздоровления; а мы потом уж так, вне дома, где-нибудь рандеву[11 - Рандеву – свидание (фр).] дадим.

Июня 1.

Любезнейший Макар Алексеевич!

Мне так хочется сделать вам что-нибудь угодное и приятное за все ваши хлопоты и старания обо мне, за всю вашу любовь ко мне, что я решилась

наконец на скуку порыться в моем комоде и отыскать мою тетрадь, которую теперь и посылаю вам. Я начала ее еще в счастливое время жизни моей. Вы часто с любопытством расспрашивали о моем прежнем житье-бытье, о матушке, о Покровском, о моем пребывании у Анны Федоровны и, наконец, о недавних несчастиях моих и так нетерпеливо желали прочесть эту тетрадь, где мне вздумалось, Бог знает для чего, отметить кое-какие мгновения из моей жизни, что я не сомневаюсь принести вам большое удовольствие моею посылкою. Мне же как-то грустно было перечитывать это. Мне кажется, что я уже вдвое постарела с тех пор, как написала в этих записках последнюю строчку. Всё это писано в разные сроки. Прощайте, Макар Алексеевич! Мне ужасно скучно теперь, и меня часто мучит бессонница. Прескучное выздоровление!

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

О первых чтениях романа мы знаем из воспоминаний двух очевидцев – Достоевского и Григоровича. При этом Достоевский несколько иначе излагает последовательность фактов: рукопись якобы была отдана им Григоровичу (еще незнакомому с романом), и затем состоялось первое чтение у Некрасова. Нужно учитывать, однако, что Григорович писал свои воспоминания, будучи знакомым с воспоминаниями Достоевского и сознательно корректируя их. Поэтому упоминаемый Григоровичем факт первого чтения романа одному ему представляется вполне вероятным.

2

Курсив в цитатах здесь и далее мой. – Ю. М.

3

Фамилия их «автора» вносит определенные, дополнительные краски в это представление. В фамилии «Ратазяев» слышится что-то вульгарное и вместе с тем бесцеремонное (ассоциации со словами: разевать рот, раззява и т. д.).

4

Подразумевается пословица: на бедного Макара все шишки сыплются. Вообще, как и у Ратазяева, имя и фамилия этого персонажа вносят определенные краски в его характеристику. Имя говорит о преследовании, несчастиях, бедах (вспоминается еще пословица: сослать туда, куда Макар телят не гонял); фамилия – Девушкин – о душевной чистоте и в то же время незрелости, наивности.

5

Курсив в оригинале.

6

Ох уж эти мне сказочники… – Эпиграф взят из рассказав. Ф. Одоевского «Живой мертвец».

7

….о Брамбеусе… – Барон Брамбеус – один из псевдонимов О. И. Сенковского, журналиста и писателя.

8

…Тереза да Фальдони… – Персонален из сентиментального романа французского писателя Н. Ж. Леонара «Тереза и Фальдони, или Письма двух любовников, живущих в Лионе» (русский перевод был осуществлен М. Т. Каченовским). Эти имена стали нарицательными для обозначения несчастных любовников.

9

…благорастворение воздухов… – Это выражение употребляется в значении: спокойствие, тишина, чудесная погода.

10

…да вот теперь и ночей-то почти не бывает… – Конец мая в Петербурге – время белых ночей.

11

Рандеву – свидание (фр).

Купить: https://tellnovel.com/fedor-dostoevskiy/bednye-lyudi-kupit

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити